



СЕРЕБРЯНЫЙ КОНЬ, ЗОЛОТЫЕ КОПЫТА

Город был полон минувшей блокадой. Ещё чернели прогоревшими окнами тёмные пустые дома. Ещё заносили лихие метели горы мусора в провалах улиц, и мы, послевоенная безотцовщина, не знавшая прекрасного довоенного города, катались с этих горок — развалин человеческого жилья — на разболтанных стареньких санках.

По утрам, когда мама вела меня в детский сад, нашу дорогу пересекала колонна военнопленных, и нам приходилось долго ждать, когда бесконечная серо-зелёная многоногая гусеница в длинных картузах освободит перекрёсток.

Немцы всегда пели. Почему? Теперь я думаю, что им было страшно идти по изуродованным улицам города, который они три года штурмовали, бомбили, расстреливали, морили голодом, а он выстоял и победил! Может быть, распевая вальсы и марши в полупустом Ленинграде, они старались заглушить голос совести? Может быть, и так.

Но скорее всего, срабатывала многолетняя неискоренимая привычка петь в строю. Пой, маршируй и ни о чём не думай!

Шарканье и грохот их сапог и ботинок гулко отдавались в коробках развалин. Немцев в колонне были тысячи, но я не помню ни одного лица. Они не вызывали у меня ни страха, ни любопытства. Мы просто стояли и ждали, когда они пройдут, словно нашу дорогу пересекал длинный медленно идущий железнодорожный состав.

Я держал маму за руку и чувствовал, что её рука тепла и спокойна. Моя щека касалась её колючего пальто, перешитого из фронтовой шинели...

По утрам было темно, фонари горели слабо, и было не видно, что изменилось на улице. А менялось многое, и менялось постоянно — каждый день. Когда мы шли домой из детского сада, я с любопытством и радостью искал глазами эти перемены и всегда находил их. Вот на углу поставили новый киоск «Союзпечать», вот местная пожарная команда залила ребятам каток, и теперь половина нашей улицы с визгом и хохотом носится по голубому льду, звонко чиркая самодельными деревянными коньками или довоенными «снегурками», прикрученными с помощью палки и верёвки к разбитым залатанным валенкам.

Но самым потрясающим событием было открытие универмага. Его долго красили, навешивали

буквы — огромные, гремящие железом. Там вспыхивала молния электросварки, и кто-то невидимый колдовал в завешенных холстом витринах. А когда холст убрали, мы ахнули: в огромных окнах со свежевывытыми цельными стёклами стояли манекены в немыслимых шубах, костюмах и шляпах.

Здесь была тётя в туфлях на высоких каблуках, в узкой юбке с оборкой, напоминавшей русалочий хвост, в короткой меховой шубке, именуемой возвышенно и загадочно — «манто», с длинными перчатками в руке и в огромной шляпе с пером. Рядом стоял дядя в зелёной велюровой шляпе, в огромном пиджаке с ватными плечами, застёгнутом на все пуговицы, в широком галстуке, в широких брюках с отворотами и ботинках с тупыми носами. Дядя был ещё более необыкновенным, чем тётя, потому что довоенные туфли с высокими каблуками у моей мамы были, и она их надевала на 7 Ноября и на 1 Мая и в праздничные дни была такая же красивая, как тётенька из витрины, хоть и не водилось у неё этого загадочного «манто», а вот дяденьку, подобного манекену, я видел только на огромном плакате «Кто куда, а я в сберкассе! Накопил — машину купил!». Ни в нашем доме, ни на нашей улице таких дяденек не было. Немногие мужчины, населявшие наш район, либо были военными, либо донаши-

вали военную форму, то есть все ходили в сапогах. Ботинки на манекене рождали во мне ощущение какой-то новой, удивительной заграничной жизни.

Здесь же в витрине стоял мальчик, с такой же, как у его родителей-манекенов, стеклянной улыбкой и с широко, словно для объятий, раскрытыми руками. Мальчик был одет как принц! На нём были бескозырка и... предел мечтаний всех мальчишек с нашей улицы — детский, специально, видать, для него сшитый, суконный матросский бушлатик.

Если тётенька и дяденька вызывали у меня почтительное недоумение, то мальчик-манекен, при всей его роскошной экипировке и блеске шевронов и якорей, — некоторое презрение: в руках он держал обруч и палочку, и я удивлялся, как в такой героической одежде — в морском бушлате! — он может заниматься таким никчёмным делом: гонять колесо.

По дороге из детского сада я специально останавливался перед витриной и всё ждал, когда же он одумается и займётся чем-нибудь стоящим. Из раскрытых дверей универмага доносились пение радиолы, запахи одеколона и ещё какие-то ароматы другой — богатой и непривычной для меня — жизни... Мальчик был оттуда, из этой жизни. Потому он и смотрел поверх моей головы, выискивая неморгающими глазами неведомые

мне удовольствия. С каждым днём он вызывал во мне всё меньше интереса... Но вот однажды!

Однажды рядом с ним в витрине появился... Я сначала не поверил своим глазам... Возле мальчика и его заграничных родителей стоял серебряный конь! Конь был прекрасен! Рядом с его золотой шёлковой гривой, с его лаковым крупом в серых яблоках, жарко открытыми розовыми ноздрями, красным седлом и золотыми копытами померк даже матросский бушлатик.

Конь! Седло с настоящими стремянами! Мысленно я прикинул его рост — конь был моего размера. Если бы я сел в это седло, если бы я взмахнул деревянной шашкой, которую очень здорово сделал и сам себе подарил к Новому году, я был бы совсем как мой папа на довоенной фотографии, где на высоком сером коне он перепрыгивает через горящее препятствие!

«Зачем? — подумал я. — Зачем мальчику в витрине этот конь? Он же в бушлатике! Он же моряк!» А я... Я, у которого и папа, и дедушка, и прадедушка, и вообще все были кавалеристами... Я — донской казак... мне даже на синенькие трусики, по великой моей просьбе, бабушка пришила алые лампасики... У меня, который так хорошо себя ведёт в детском саду, и первым идёт пить рыбий жир, и ещё ни разу, ни разу (!) не стоял в углу... у меня нет такого коня!



Зачем этому пустоголовому мальчику конь, если он до сих пор не может расстаться с обручем?

Конь нужен мне! Я бы поил его! Я бы кормил его травой!

Я бы отдавал ему всё, даже котлеты! Не говоря уже о клюквенном киселе! Я бы чистил его бабушкиной платяной щёткой, я бы мыл его золотые копыта! Может быть, я даже и не садился бы на это пунцовое седло, чтобы не испортить. Только бы этот конь был мой! Мой!

Я знал, что мы бедные. Что мы еле-еле можем прожить на мамину зарплату медсестры и бабушкину пенсию, которую она получает за убитого сына, поэтому я никогда ничего не просил... Но тут я не выдержал...

— Мама... — прошептал я. — Ты мне купишь такого коня?.. Хоть когда-нибудь?!

И мама, повернув моё лицо к себе и заглянув в самые глаза, сказала:

— Нет, сынок. Я не смогу этого сделать...

Она всю жизнь потом сокрушалась.

«Конь стоил ровно мою месячную зарплату! — говорила она мне — взрослому. — Но лучше бы я сидела на одних сухарях... Влезла бы в долги! Ведь через месяц ты потерял бы к этому коню интерес! И вот теперь я могу тебе купить что угодно, а тебе не нужно...»

А я знаю другое! Слова мамы потрясли меня тогда. Я видел её дрожащие губы, видел глаза с набегающими слезами. Я понимал, как трудно ей сказать мне правду, но она мне её сказала! Потому что я — взрослый! Меня не надо обманывать, как маленького! Я — взрослый.

Может быть, поэтому колючий ком слёз, который стоял у меня в горле (ведь я знал, что коня мне не купят, и спросил уж так... Для очистки совести, как говорится...), — этот ком куда-то исчез. Плакать совсем не хотелось.

Мы шли домой, и я вдруг словно бы впервые увидел разбитые дома на нашей улице, немцев, разбиравших развалины, я почувствовал мамину хромоту — след фронтовой контузии...

Но не подавленность, не растерянность появились во мне, наоборот! Я почувствовал себя опорой и заступником двух маленьких и больных женщин: мамы и бабушки. Я почувствовал себя сыном этого многострадального города, который терпит разруху как долгую болезнь и ждёт, когда я приду ему на помощь...

Я — вырос и потому стал достоин правды.

«Господи! Зачем я тогда его не купила!» — много лет спустя вздыхала моя старенькая мама. А я считаю по-другому. Как правильно! Как справедливо было, что мне не купили этого коня! Самый дорогой, самый прекрасный, он бы так и остался

в моём детстве, пусть любимой, пусть незабываемой, но всё же игрушкой. А некупленный, он стал этапом моей биографии, той тугой и тяжёлой дверью, что приоткрылась тогда передо мною, — дверью во взрослую жизнь, в которую я вступил мужественно и достойно.

Я ещё несколько раз потом останавливался перед витриной, но ни золотые копыта, ни настоящие стремена, ни шёлковая грива уже не вызвали у меня спазмов восторга, а мальчик со стеклянной улыбкой и обручем в гипсовой руке — ненависти.

Конь ещё долго торчал в витрине, пылясь и выгорая на солнце, пока его не убрали и не поставили на его место сверкающий лаком и никелем мотоцикл.





НЕЧЁТНЫЙ ЗАКОН

Настоящий футбольный мяч с крышкой и с камерой стоил безумных денег. Но дело было не только в деньгах! Деньги бы мы всем классом накопили — мяч для нас был самой необходимой вещью! Просто его негде было купить!

Сколько раз мы с Серёгой ходили на барахолку, где продавалось всё: от трофейного аккордеона до иглы для чистки примуса! Там можно было купить даже «неизвестно что», и притом целый мешок, и всего за рубль!

Этот мешок «неизвестно с чем» продавал немислимого вида цыган. Мешок можно было щупать, поднимать, пробуя на вес, но развязывать не разрешалось. Около этого цыгана всегда толпился народ. Правда, я ни разу не видел, чтобы этот мешок «неизвестно с чем» кто-нибудь купил.

На барахолке продавались пиджаки и патефоны, гипсовые кошечки-копилки, мраморные слоники и картины, нарисованные тут же при нас

на старой клеёнке, где по желанию заказчика могли быть изображены тройка с лихим ямщиком, уносившаяся в зимнюю лунную ночь, лебеди на пруду, русалки или красавицы в шароварах, возлежащие на коврах.

Одним словом, на барахолке можно было купить всё. Всё, кроме футбольного мяча. То ли мы были такие невезучие, то ли действительно он был страшной редкостью, но, сколько мы ни ходили по набережной Обводного канала в гудящей, вороватой и густой толпе продавцов и покупателей, мы ни разу не видели, чтобы продавали мяч.

Поэтому нам оставалось гонять по пустырю пустую консервную банку. Особенно скверно приходилось мне: я был вратарём, и хватать консервную банку руками было не особенно приятно.

И вдруг Серёга достал мяч. Настоящий! Пахнущий кожей, звонко бумкающий под ударами!

— На три часа! — сказал Серёга, бледный от гордости.

И мы ринулись на пустырь.

Пустырь был большой, основательно вытоптаный, ограниченный с одной стороны железнодорожной насыпью, с другой — забором из колючей проволоки, за которым пленные немцы строили дом, и глухим забором — с третьей.

С некоторых пор в этом глухом заборе пропилили калитку и повесили вывеску, которая отно-



силась к высокому кирпичному зданию за забором: «НИИ». По утрам в это самое НИИ шли разные тётеньки в шляпках и дяденьки с рулонами чертежей. Иногда подкатывала машина, и тогда из калитки выбегал старый толстый охранник и отдавал приехавшим честь. Чаще всего на чёрной легковой машине приезжала тётенька в офицерской шинели с полковничьими погонами. Она курила папиросы «Казбек» и носила очки. Она всегда махала на охранника рукой, но он всё равно почтительно открывал перед нею калитку, суетился и вообще мешал пройти!

Он был противный, потому что нас с пустыря гонял, хотя мы ему ничего дурного не делали. Ну подумаешь, консервная банка в забор попадает, если мне забивают гол, так что? Что, забор сломается, что ли?

Но он обязательно выскакивал и начинал кричать:

— Прекратите немедленно! Вы мешаете научной работе! Вы мешаете товарищам научным работникам!

Иногда мы видели, как в окне второго этажа появлялась эта очкастая, только она была не в шинели, а в белом халате, как доктор. Она смотрела на нас сквозь свои огромные очки и курила. Мы её побаивались.

Но в этот день мы о ней даже и не вспомнили, а сразу разделились на две команды и начали играть! Но играть-то настоящим мячом оказалось совсем не просто! Мяч — это не консервная банка! По нему чуть стукнешь — он на сто километров летит. Мы его сразу же за колючую проволоку загнали, на стройку к немцам. Ещё хорошо, что никто не заметил. Серёга быстро, как ящерица, под проволокой пролез и принёс мяч обратно.

Мы решили играть в одни ворота. Ну в те, где забор, где я стоял! Раза два мяч саданул в забор, и сразу выскочил охранник и начал на нас орать.

Но мы на него — ноль внимания. Чего он делает: нас много — он один. Он покричал-покричал, побегал, потом пригрозил:

— Ну погодите! Вот перелетит мячик через забор, я вам его проколю, ей-богу, проколю!

Тут у нас как раз сложилась такая ситуация, что надо бить одиннадцатиметровый! И выпало бить Серёге.

Он отсчитал одиннадцать метров, разбежался.

Ребята из другой команды стали передо мной стенкой, чтобы ворота прикрыть. (Поскольку идёт игра в одни ворота, то я для обеих команд



вратарь.) Выстроились они стенкой, и мне сразу стало не видно, что там Серёга делает. Но даже если бы я видел, то ничего изменить бы не смог. Потому что у Серёги пушечный удар! Он так и говорит: «У моей правой — удар пушечный, а у левой — смертельный!»

Я, правда, не видел, какой он ногой бил. Но удар действительно оказался пушечным. Мяч ударил в игроков, двое сразу же на землю повалились. А мяч взмыл под самое небо и потом, как по ниточке, покатился... покатился... И прямо в окно этого НИИ! Окно было открыто, и стекло осталось целым, и что расколотил мяч, когда в комнату попал, мы разглядеть не могли!

— Ага! — закричал охранник, выскакивая из проходной. — Понаделали делов, голубчики!

Мы бросились кто куда! Собрались уже по другую сторону насыпи.

На Серёгу было страшно смотреть.

— Мне же его под честно-пречестное на три часа дали! — шептал он.

— Надо идти просить, чтобы мяч отдали! — сказал Коля Осташевский.

— Вот ты, такой умный, и иди! — сказали другие мальчишки.

— Кто забил, пусть тот и идёт! — сказал Коля, поглядывая на Серёгу.

Да было и так ясно, что идти Серёге.



Серёга встал, пошмыгал носом и пошёл к проходной, где его уже поджидал ухмыляющийся охранник.

И тут не знаю почему, но я вдруг пошёл по травянистому откосу насыпи и бросился за Серёгой. Вообще-то я думал, что все мальчишки побегут за мной... Но никто не побежал. И даже кто-то сказал:

— Во Пифагор — лопух! Сам на рожон лезет! Я догнал Серёгу и пошёл с ним рядом.

— Ага! — ухмыльнулся охранник, блеснув металлическими зубами.

— Чего «ага»-то? — смело глядя ему в глаза, сказал Серёга.

— А вот сейчас отведу тебя к учёному секретарю — тогда узнаешь!

— Да хоть к печёному, хоть к мочёному! — бесстрашно ответил Серёга.

Я, конечно, молчал, но не отставал от Серёги ни на шаг! Охранник даже растерялся.

— Ага! — сказал он. — Ага! Храбрые какие! Сейчас посмотрим, какие вы храбрые!

И он цепкими железными пальцами вдруг схватил нас за уши и поволок по коридору, а потом по лестнице на второй этаж.

— Ну, ты! — кричал Серёга. — Отпусти уши! Отпусти!

А я всё никак не мог так извернуться, чтобы укусить его за руку. Прихохатывая, охранник

втолкнул нас в комнату, и мы услышали строгий голос:

— Что это такое! Я спрашиваю, что это такое!

— Вот! — сказал охранник. — Футболисты! Те самые!

— Я не о том! Немедленно отпустите их уши!

Охранник разжал пальцы, и мы увидели комнату, всю заставленную какими-то приборами, и тётеньку — ту самую, в очках!

— Тётенька! — закричал Серёга. — Отдайте мяч! Я вас очень прошу, и вот он тоже, и мы все!

— Вас же предупреждали, что здесь играть не положено, — сказала она.

— Мы больше не будем! — заныл Серёга. — Это не наш мячик, отдайте, пожалуйста!

Тут я увидел на большом письменном столе, заваленном разными бумагами, наш мячик! Я увидел его и прикинул, как бы так его схватить и выкинуть в окно нашим ребятам. А с нами пусть что хотят потом делают.

И ещё я увидел на письменном столе фотографию какого-то солдата — совсем мальчишки.

— Пифагор! — закричал Серёга. — Ну хоть ты скажи! Пусть мячик отдадут. Он же не наш.

— Как? — вдруг заинтересовалась строгая тётенька. Она даже перестала что-то писать на листках бумаги. — Как он тебя назвал?

— Пифагор, — пояснил Серёга. — Сокращённо Пифа...

— Вы хоть знаете, кто это был? — спросила она, поворачиваясь к нам на стуле и пристально глядя сквозь свои огромные очки.

— Математик, — сказал я. — Древнегреческий. Что мы, вообще, что ли, серость? Мы уже в третьем классе.

— Я не о том! — сказала она, доставая коробку «Казбека». — К тебе-то он какое отношение имеет?

Я пожал плечами.

— Я спрашиваю, — сказала очкастая, — почему тебя называют Пифагором?

— Дураки! Вот и называют! — сказал я, глядя в пол.

— Сам ты дурак! — сказал Серёга и заискивающим голосом объяснил: — Он, тётяшка, думает, что открыл нечётный закон!

— Кто думает?

— Пифагор!

— Настоящий или вот этот фрукт? — сказала тётяшка. — Совсем вы меня заморочили.

— Наш, — сказал Серёга. — Тётяшка, отдайте, пожалуйста, мячик!

А я всё стоял и прикидывал, как бы так метнуться, чтобы схватить мячик — и в окно! Тем более что окно открыто.

— Отстань ты со своим мячиком! — заругалась на Серёгу тётя. — Ты что, серьёзно предполагаешь, что открыл математический закон?

— Чего мне предполагать! — сказал я, глядя в её круглые очки. — Я не предполагаю! Я открыл!

— Посмотрите какой! — удивилась тётя. — Прямо Галилео Галилей. «И всё-таки она вертится!»

— Тётя, — занул опять Серёга, пытаясь выдать слезу, — отдайте мячик!

— Отстань ты со своим мячиком! — цыкнула на него тётя. — Ну и в чём же, Пифагор, сущность твоего закона?

— Чего?

— Я спрашиваю: о чём твой закон?

— Трудно объяснить.

— Нет уж, пожалуйста... Я обещаю тебе постараться понять. Соблаговолите уж объяснить!

— Тётя! Отдайте мячик! — опять занул Серёга.

Тётя вдруг схватила его за плечи, вытолкнула в коридор и закричала там:

— Демидыч! Демидыч! Выведи его! Не даёт работать! За уши не смей! Слышишь, не смей делать ему больно!

Она вернулась в комнату и села передо мной. А я стоял как дурак и проклинал себя, что не выкинул мяч в окно, пока её не было. Но что-то меня удерживало.